



МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ХЛЫСТОВКИ

Марина Ивановна Цветаева

Хлыстовки

Серия «Автобиографическая проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175885

Марина Цветаева. Проза: Эксмо-Пресс; Москва;

ISBN 5-04-008397-1, 5-04-008265-7

Аннотация

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Марина Цветаева

Хлыстовки

Существовали они только во множественном числе, потому что никогда не ходили по одной, а всегда по две, даже с одним решетом ягод приходили по две, помоложе с по-старше, – чуть-помоложе с чуть-постарше, ибо были они все какого-то собирательного возраста, – возраста собственного числа – между тридцатью и сорока, и все на одно лицо, загарное, янтарное, и из-под одинакового платочного – белого, и бровного черного края ожигало вас одинаковое, собирательное, око, тупилось в землю крупное коричневое веко с целой метелкой ресниц. И имя у них было одно, собирательное, и даже не имя, а отчество: Кирилловны, а за глаза – хлыстовки.

Почему Кирилловны? Когда никакого Кирилла и в помине не было. И кто был тот Кирилл, действительно ли им отец, и почему у него было сразу столько – тридцать? сорок? больше? – дочерей и ни одного сына? Потому что тот рыжий Христос, явно не был его сын, раз Кирилловнам – не брат. Теперь бы я сказала: этот многодочерний Кирилл существовал только как дочернее отчество. Тогда же я над этим не задумывалась, как не задумывалась над тем, почему *пароход* – “Екатерина”. Екатерина – и всё тут. Кирилловны – и всё тут.

Острое ж звучание “хлыстовки”, могшее бы поразить

несоответствием с их степенностью и пристойностью, мною объяснялось ивами, под которыми и за которыми они жили – как стая белоголовых птиц, белоголовых из-за платков, птиц – из-за вечной присказки няни, ведшей мимо: “А вот и ихнее гнездо хлыстовское”, – без осуждения, а так, простая отмета очередного с дачи Песочной в Тарусу этапа: “Вот и часовню миновали... Вот и колода видна: полдороги... А вот и ихнее...”

Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний – после скольких? – спуск, полная, после столького света, тьма (сразу полная, тут же зеленая), внезапная, после той жары, свежесть, после сухости – сырость, и, по раздвоенному, глубоко вросшему в землю, точно из нее растущему бревну, через холодный черный громкий и быстрый ручей, за первым по левую руку ивовым плетнем, невидимое за ивами и бузиною – “ихнее гнездо хлыстовское”. Именно гнездо, а не дом, потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим, а если и приоткрывалась изредка калитка, глаз, потрясенный всей той красотой и краснотой, особенно смородинной, того сереющего где-то навеса и не отмечал, не включал его, как собственно-го надбровного. О доме Кирилловн никогда не было речи, только о саде. Сад съедал дом. Если бы меня тогда спросили, что хлыстовки делают, я бы, не задумываясь: “Гуляют в саду и едят ягоды”.

Но еще о входе. Это был вход в другое царство, этот вход

сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу, если ее так можно назвать, но назвать так нельзя, потому что слева, кроме нескончаемого их плетня, не было ничего, а справа – лопух, пески, та самая “Екатерина”... Это был не вход, а переход: от нас (одинокого дома в одинокой природе) – туда (к людям, – на почту, на ярмарку, на пристань, в лавку Наткина, позже – на городской бульвар), – средостояние, междущарствие, промежуточная зона. И, вдруг, озарение: а ведь не вход, не переход – **выход!** (Ведь первый дом – всегда последний дом!) И не только из города Тарусы выход, – из всех городов! Из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени, из собственной кожи – выход! Из всякой плоти – в простор.

Из всей Тарусы, верней, из всех “гостей”, то есть сластей, чужих детей... я больше всего любила эту секунду спуска, входа, нисхождения – в зеленую, холодную, ручьевую тьму, миновения – серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым – так это у меня и осталось – все ягоды зреют сразу, клубника, например, вместе с рябиной, за которым всегда лето, все лето сразу, со всем, чту в нем красного и сладкого, где стуйт только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!

Вот яблок не помню. Помню только ягоды. Да яблок, как ни странно в таком городе, как Таруса, где их в урожайный год – каждый был урожайным! – на базар выносили бельевыми корзинами и их уж и свиньи не ели, – яблок у Кирил-

ловн не было, потому что приходили они за ними к нам, в наш “старый сад”, то есть нами состаренный и запущенный, с одичавшими ценнейшими сортами, полусъедобными, шедшими только на сушку. Но не они приходили за яблоками, не те, степенные, дулуокые, а *оне*, то есть ихняя Богородица с Христом, рыжим, худым, с раздвоенной бородой и глазами – теперь бы сказала: очень рвано одетым и босым, их Христос – с ихней Богородицей, старой, уже не янтарной, а кожевеной, кожаной, и хотя и не рваной, но все-таки страшноватой. Отношение у родителей к этим набегам было... судьбинное.

“Опять Христос приходил за яблоками...” или “Опять Богородица с Христом *возле* ходят...” Те не спрашивали, *эти* не запрещали. Богородица с Христом были вроде домашнего бедствия, положенной напасти, рока, унаследованного вместе с домом, потому что Кирилловны в Тарусе были раньше нас, раньше всех, может быть, даже раньше самих татар, ржавые ядра которых (?) мы находили в ручье. Это был не набег, а побор. Нужно, однако, прибавить, что, когда мы, дети, их за этим делом заставляли, они, особенно Христос, все-таки сторонились, хоронились, уединялись за другую яблоню, где Богородица уже торопливо донабивала большой холщовый мешок. Не говорили они в такие минуты друг с другом ничего, да и нам бы в голову не пришло голосом подтвердить свое присутствие, мы как-то молчаливо условились, что они – не делают, а мы – не видим, что кого-то, либо их, либо нас, а может быть, и тех, и других – нет, что это все – так себе...

– Папа! Христа видели!

– Опять приходил?

– Да.

– Ну, и Христос с ним!..

Про унесенные яблоки родители не спрашивали, а мы не сообщали. Иногда мы рыжего Христа заставляли тут же спать в стогу сена. Старая Богородица сидела рядом и обвела его от мух. Тогда мы, не сказав ни слова, на цыпочках, высоко подняв брови и глазами указывая друг другу на “находку”, уходили, отходили к нашей “яме”, где сидели, болтая ногами, косясь на всё-спящего и всё отгоняющую. Иногда няня не нам, а при нас говорила – бонне, что Христос этот горький пьяница и что опять его подобрали в канаве, но так как мы сами сидели в канаве, нас это не изумляло, слово же *горький* для нас объясняло пьяницу, вызывая во рту живую полынь (мы постоянно ели всё), после которой можно выпить целое ведро.

Иногда Христос пел, а Богородица подпевала, и нас совершенно не удивляло, что поет она больше мужским, а он – скорее женским, тонким, и не удивляло, во-первых, потому, что цветаевских детей ничто не удивляло, во-вторых же, потому, что она была темная и крепкая, а он – светлый и слабый, и получалось, что каждый поет именно своим голосом, себе в масть и в мощь, – как комар, например, и шмель. И шла в нашу зеленую канаву из яблонной зеленой дичи песня про какие-то сады зеленые... Мы даже никогда не задумывались

мывались (и сейчас не знаю), были ли они мать и сын, так же, как никогда не спросили не только родителей, но даже няни, которой не боялись, почему *Богородица* и *Христос*, и не потому, что мы верили, что это – те, с иконы (те – на иконе, а кроме того, все-таки – яблоки...) – не *те*, но и не *не-те*. Может быть, и сами имена внушали трепет – не может же каждый называться Богородицей и Христом! – и устанавливали какую-то их несомненность и неподсудность. Наше тогдашнее чувство рассуждало приблизительно так:

“Раз они воруют яблоки, то не совсем Христос и Богородица, но так как они все-таки Христос и Богородица, значит, не совсем воруют”. Да и не воровали – брали, а скрывались, теперь вижу, не от нас (дети сами – нищие и воры), а от глаз. Так звери, так дети (и не только дети и звери, прошу верить!) не выносят, когда на них смотрят. Словом, для нас эта бродячая пара была не просто – люди, а если не настоящие *те*, то все-таки как-то – *тоже*. Жили (то есть ходили, про жизнь ничего не знаю) Христос и Богородица от других отдельно, и всегда вместе, никогда порознь, и я часто думала, на них глядя: “Так, должно быть, *та* Богородица ходила за *тем* Христом”, – потому что она именно за ним ходила, именно по пятам, ровно настолько отставая, чтобы не наступить ему на пятую (босую). Ходила, и телом, будто поддерживала, – он весь был расслабленный, весь расстроенный, точно шел не туда, куда сам хочет, а куда нога хочет, да и нога-то не твердо знала, куда: то в колею, то о камень, то на кочку, а

то вовсе без всякого смысла – вкось. Так их встречали и на базаре, и по дорогам, и в лопушиных полях, на Оке... Но – как те, сестры, за яблоками никогда не приходили, так эти, мать и сын, ягод никогда не приносили, даже и подумать бы дико, что вдруг Христос – викторию принес! И, поскольку низко кланялись при встрече Кирилловны, постольку никогда не кланялась Богородица, про Христа и говорить нечего – не только взглядом, всем телом мимо глядел! – Барыня! Кирилны викторию принесли... Брать прикажете? Стоим в сенях, мать спереди, мы, по трусости, чтобы не выказать внезапной на лице жадности (бессознательное матерью преследовалось больше всего!) – за ней, чуть-чуть из-за ее бока вытягивая шею. Оторвешься, наконец, от клубничной россыпи и вдруг встретишься с только *чуть* поднятым от земли (мы были такие маленькие!) хлыстовкиным взглядом, с понимающей ее усмешкой. И пока пересыпают из решета в миску ягоды, Кирилловна (которая? всё одна! одна во всех тридцати лицах, под всеми тридцатью платками!), не отпуская все еще потупленными глазами уходящую спину матери, спокойно и неторопливо – в ближайший, смелейший, жаднейший рот (чаще – мой!) ягоду за ягодой, как в прорву. Откуда она знала, что мать не позволяет есть – так, до обеда, по многу сразу, вообще – жадничать? Оттуда же, откуда и мы, – мать нам словами никогда ничего не запрещала. Глазами – всё.

Кирилловны, удостоверяю это с усладой, меня любили

больше всех, может быть, именно за эту мою жадность, цветущность, крепость, – Андрюша был высок и худ, Ася мала и худа, – за то, что такую вот дочку они бы, бездетные, хотели, одну – на всех!

“А меня хлыстовки больше любят! – с этой мыслью я, обиженная, засыпала. – Асю больше любят мама, Августа Ивановна, няня (папа по доброте “больше любил” – всех), а меня зато – дедушка и хлыстовки!” Поблагодарил бы меня чинный остзейский выходец за такое объединение!

Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что – единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос, и, о удивление, изумление (мать не выносила семейных прогулок, вообще ничего – скопом, особенно же своих детей – на людях), о, полное потрясение, нас – взяли. Настоял, конечно, отец.

– *Эту* будет тошнить, – возражала поверх моей заранее виноватой головы мать, – непременно растрясет на лошадях и будет тошнить. Ее всегда тошнит, везде тошнит, совершенно не понимаю, в кого она. Папашу (так она звала того “дедушку”) не тошнит, меня не тошнит, тебя не тошнит, наконец ни Лёру, ни Андрюшу, ни Асю не тошнит, а ее от одного вида колес уже тошнит.

– Ну, стошнит... – кротко соглашается отец, – стошнит, и вся беда... (И, явно уже думая о другом:) стошнит – и чудесно. (И, спохватываясь:) А может быть, и нет – на свежем воздухе...

– При чем тут свежий воздух? – горячится мать, заранее оскорбленная дорожным зрелищем. – Что вагон – что воз – что лодка – что ладно, на рессорах, и без рессор, на пароме, на ascenseur'e¹ – всегда тошнит, везде тошнит, а еще *морской* назвали!

– Меня пешком не тошнит, – робко-запальчиво вставляю я. расхрабрившись от присутствия отца.

– Посадим лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, – уговаривает отец, – платье, наконец, на смену...

– Только *яс* ней рядом сидеть не хочу! Ни рядом, ни напротив! – раздражается Андрюша, давно уже мрачневший лицом. – Каждый раз меня с ней сажают, как тогда в вагоне, помнишь, мама, когда...

– Возьмем одеколону, – продолжает отец, – а рядом сяду – я. (Ты только, пожалуйста, не удерживайся, – конфиденциально, мне, – замутит – скажи, остановим лошадей, и слезешь, продышишься. Не на пожар ведь... А действительно странно: отчего тебя всегда тошнит? – И, примирительно: – Природа, природа. ничего с ней не поделаешь. Даже так можешь: “Папа, мне хочется сорвать во-он тот мак!” Соскочишь побыстрее и побежишь подальше – чтобы не расстраивать маму!)

Словом, поехали – и с тем самым моим маком в руке – доехали – до хлыстовского сенокоса, далеко за Тарусой, в каких-то их разливанных лугах.

¹ Лифте (фр.).

– Ай Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? – Кирилловны – окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно каким-то своим общим хлыстовским сокровищем. Своих – ни папы, ни мамы, ни бонны, ни няни, ни Лёры, ни Андрюши, ни Аси, я в том раю не помню. Я была – их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась, с ними ныряла и вновь возникала, как та жучка в бессмертных стихах (“впопыхах!”), с ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар, с ними бы...

“Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь...” – “Мама не позволит”. – “А ты бы осталась?” Молчу. “Ну, конечно бы не осталась – мамашу жалко. Она тебя небось во-он как любит?” Молчу. “Небось, и за деньги не отдаст?” – “А мы мамашу и не спросим, сами увезем! – какая-то помоложе. – Увезем и запрем у себя в саду и никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем. (Во мне начинает загораться дикая жгучая несбыточная безнадежная надежда: а вдруг?) Вишни с нами будешь брать, Машей тебя будем звать...” – та же, певуче. “Не бойся, голубка, – постарше, приняв мой восторг за испуг, никто тебя не возьмет, а придешь ты к нам в гости в Тарусу с папашей и с мамашей, али с нянькой – небось каждый воскресный день

мимо ходите, все на вас смотрим, вы-то нас не видите, а мы-то все-о видим, всех... В белом платье придешь пикеевом, нарядная, в башмачках на пуговках...” – “А мы тебя оденем в на-аше! – подхватывает та певучая неугомонная, – в черную ря-ску, в белый платочек, и волосы твои отрастим, коса будет...” – “Да что ты ее, сестрица, страшишь! Еще впрямь поверит! Каждому своя судьба. Она и так наша будет, – гостя наша мечтанная, дочка мысленная...”

И, обняв, прижав, подняв, поддав – ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа в чесучовом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в тирольском, и желтый костер, и самые далекие зализы песка на Оке...

Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили, с тарусской каменоломни, камень:

Здесь хотела бы лежать

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Париж, май 1934